

22.251к

АЛЬМАНАХ

ЗЕМНЫЕ ЛАСКИ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО
КИНЕШМА

1922

ИЗ БИБЛИОТЕКИ
поэта
*Дмитрия Николаевича
Семеновского*

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТОК
СРОКОВ ВОЗВРАТА

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗДНЕЕ
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

Колич. пред. выдач

3 ТМО Т. 3.600.000 З. 1653—91

Д. Семеновский

СВЯТОЕ ПАСХАЛЬНОЕ

Литургия в честь Пасхи Христовой

Дм. Семеновский.

ЛНДЛЮП

* * *

Блажен, чье сердце,
Как медь пасхальная, песнями дрожит,
Кто тихой синью светится
И трепетно благословляет жизнь.

Блажен, кому в березовые ветви
Улыбку шлет звезда, с кем говорит трава,
Кому рассказывает шумнокрылый ветер,
Как хорошо дышать на этом свете
И о нездешних нивах тосковать.

Все проходит
И мы уходим
В страну, откуда возвращенья нет.
Апрельским серебристым половодьем
Схлынет все в пучину темных лет.

Пусть так! Пусть мы живем одно мгновенье,
Пусть все пройдет, как сновиденье, пусть!
О, жизнь, привет тебе, благодаренье
За эту ночь в лазурном озареньи,
За каждый вздох, за песнь мою и грусть.

* * *

Ах, какой заставлю силой
Искру в пламя разгореться,
Чтобы снова—милый! милый!—
С алых губ свевалось в сердце,

Чтоб в ответ на голос чувства
Встрепенулся я и замер
Пред затепленными грустью
Непрятворными глазами.

Как лампада пред иконой,
Тайным жаром я засвечен.
Вспоминаю взор зеленый
И томлюсь мечтой о встрече.

Ивановская
областная
библиотека
Обла. акн.

- 2010

Борис Городецкий.

П О Л Д Е Н Ь.

Крылатый полдень опустил ресницы—
На солнце стая тучек набежала,
По нивам, будто крылья темной птицы,
Волнуясь тень от тучек пробежала.

Миг благости. Вздохнули медом травы,
Перекрестилась рожь и пала на колени.
И ветерок вспорхнул, домчался до дубравы
И там затих в тенетах светлой лени.

И чудится—идет богослуженье
В дремотном поле золотом и мирном..
И льется с неба жаворонка пенье,
Поющего о благости всемирной.

С О Л О В Ъ И.

Борису Садовскому.

Снова день золотой и дразнящий!
Скоро, скоро умолкнут ручьи,
И в лесной густолиственной чаще
Зарокочут мои соловьи.

В переливах ликующих песен
Вновь услышишь, почувствуешь ты,
Как обидно—мучительно тесен
Мир для пьяной весенней мечты.

И когда павилика завьется—
Сердцу снова томиться невмочь...
Сердце слышит, как тихо крадется
Сумасшедшая майская ночь.

В тальниках, перелесках проснутся,
Разольются в ночи соловьи.
Темным стоном на них отзовутся
Отдаленные песни мои.

СТИХИ О ТУРКЕСТАНЕ.

Моей матери.

I.

Грежу небом синим,
Глиняным аулом.
Рвусь душой к пустыням
С жалким саксаулом.
В огненной пустыне
Ветрятся барханы.
Там вдали в ложбине
Вижу — караваны.
Мерно, друг за другом,
Зыблются верблюды,
Каждый с полным выуком —
В них — товаров груды.
Воздух жгучий, сонный,
Ветрятся барханы.
Ветер раскаленный
Взвихрил смерч песчаный.

II.

В мареве синего зноя,
В рамке зеленых гирлянд
Вновь замелькал предо мною туман
Милый душе Самарканд.
Город чарующих сказок,
Лает Жгучих полдневных лучей,
Знойных полуценных красок,
Бархатных синих ночей.
Вот из зеленого сада,
Солнца пригрета лучем,
Свесилась гроздь винограда
Желтым живым янтарем.
Знойной томимся мы ленью.
Небо — как купол без дна.
Манит приветливой тенью
Нас отдохнуть чайхана.

III.

Сижу в чайхане. Полумгла.
Я — на ковре, поджавши ножки.
Передо мною — пиала,
Киш-миш и пресные лепешки.

Кругом ковры. Поздневный жар
Там—за стеной, а здесь—прохлада.
Журчит огромный самовар.
Восточной лени сердце радо.
Чуть слышен запах анаши,
Смолистый, нежный и дурманный.
И сладко мне вот здесь в тиши
Сидеть часами в грезе странной.

IV.

Солнце печет нестерпимо.
Пышет полуденный жар.
Сарты проносятся мимо,
Вспомнил: сегодня базар.
Вот, колыхаясь, проплыли
Два полысевших горба—
С грохотом в облаке пыли,
С скрипом промчалась арба.
В пекле поздневного жара
Пылью дышать—свыше сил.
Мы—в самом сердце базара;
Где-то осел затрубил.
Тут со своими коврами
Персы сидят. Здесь текин
Бойко торгует сластями,
Тут-же корица и тмин.
Золотом шитые ткани,
Перстни, запястья, шелка—
В многоголосом тумане
Пыли стоят облака.
Громко заспорили где-то,
Яростно вскрикнул один...
С ближнего к нам минарета
Звонко запел муэзин,

V.

Вечерний час. Затих степной аул,
Мерцает небо синим звездным светом.
Притихла степь. Умолк вечерний гул.
Гортанный звук плывет над минаретом:
„Алла! Алла! Благодарим Тебя
За этот день, так мирно проведенный,
За мирные стада, за вечер благовонный,
Алла! Алла! Благодарим Тебя!“

Спустилась ночь. Приник в степи ковыль.
Вот проблеял баран и снова тихо стало.
В вечерней мгле так остро пахнет пыль.
Ночь бархатное стелет покрывало.

ДРЕМОТНЫЙ СОН.

Хрусталики, кристаллики—горят на елке свечечки,
Зеленые иголочки сквозь праздничный наряд,
Висят, горят фонарики, морозки и подвесочки
И страшно в ожидании —кому что подарят?

В окошко хлопья снежные бросает выюга выюжная,
Диковинными листьями расцвечено стекло,
Гудит в трубе мятелица, как бабушка недужная,
А в зале с елкой весело, уютно и светло.

Сверкают глазки девочки, горят глазенки мальчика,
Вокруг огнистой пленницы веселый хоровод..
Орехи золоченые! И Ирочка два пальчика
В невольном восхищении засовывает в рот.

Трещат и гаснут свечечки. Блестят глазенки сонные—
Часы двенадцать часиков пробили со стены.
Пора, пора и банинки... Затихнут утомленные
И ночью будут видеться им радостные сны.

Вот помолились Боженьке, и тихо в теплой спаленке.
Старушка, няня старая („пора уж на покой!“),
Идет, бредет к лежаночке, крехтя снимает валенки
И долго, долго шепчется с иконкой золотой.

И снова тихо в горенке. Вбежала мышка серая,
Пошевелила мордочкой—темно со всех сторон.
Грызет скорлупку хрупкую... Насторожилась серая—
Бредет, валит по горенке дремотный светлый сон...

К какой волнующий и ласковый апрель!
Журчат ручьи... От солнца больно взглядам...
Деревья все стоят в какой-то сладкой дреме,
Как девушки, которые вчера
Еще детями были, а сегодня—
К венчальному готовятся обряду.
По вечерам, томительным и нежным,
Слегка морозит, но зато как ярко

На утро всходит солнце и потоком
Сверкающего золота на землю
Бросает тысячи играющих лучей.
К полудню все журчит, струится и горит,
Как будто праздник. Тысячами звонов
Поют сверкающие маленькие капли...
А воздух весь дрожит, весь млеет и поет
И обещает... Сладкою тревогой
Больна душа: в ней все—и радость и печаль
И грусть о прошлых веснах и надежды,
Томящее предчувствие любви
И острый хмель и сладкая тоска.

В Е Ч Е Р.

Ах, березка молится молодому месяцу,
Тонкой бледной ниточкой вставшему в тиши,
Ах, березка белая скоро заневестится—
Слишком много радости для одной души...
Сумрак зеленеющий шепчет сказки странные,
Про моря далекие, про чудесных птиц...
А в дали синеющей ночь идет туманная
Вся в тревожных сполохах веющих зарниц.

* * *

В тот год фиалки были краше
И ярче был весенний гром,
На небе золотые чаши
Плескались золотым вином.
Расцвет весны, огнистость лета,
Мерцаные звезд и блеск зарниц...
О, этот год—он полон света
И зачарованных ресниц.

Леонид Чернов-Шлесский.

В СИЯНИИ УТРА.

Посвящ. первому сборнику Кинеш.
Литературно-Худ. Общества.

Над рекою, над берегом в неге
Задремавшем на синей постели,
Над уснувшими в светлом ковчеге,
Ласка, грусть голубями летели.

С неба глянула Божия Матерь,
Порассыпала с лаской покровы,
С грустью ласковой молвила: „На-те,
Замените сияньем оковы!“

Омочила одежочки в воды
И баюкает в лодке Младенца,
Порассыпав с риз в воду разводы,
Приклонила к ковчегу коленца.

С грустью ласковой молвила:—„На-те,
В бедной лодке приемлите Спаса!
Сына нежьте в серебряной вате,
Ждите золота Божьего Гласа.

И вы узрите, бедные дети—
Врата раевы настежь открыты,
А иссохшие адovy сети
Во песках, во сыпучих зарыты“.

Кротко Дева сияла Святая—
Ей Младенца рыбаки качали.
Радость утра святого выхая,
Грусть и ласка в сияньи летали.

Кинешма, июнь 1922.

ПЕСНЯ ЛЬДИН.

Борису Городецкому.

Последние льдины средь ветра и стужи
Сердитые, злые плывут;
Спешат; и печальную уже и уже
У берега ленту плетут.

Плывут корабли перепетых мятелей,
Рассказанной сказки дворцы.
Уходят с последней, туманной неделей
Минут погребальных творцы.

Шипят, утопая, надгробные плиты—
Творенья могильщиков—дней.
Скользят, умирая, громады—улиты
Сумеречных гротов, аллей.

Колеблются, рвутся хрустальные звонь,
Как тонкие нити стекла—
Хоронятся выюги недавние стоны,
Слезинки в могиле тепла.

Хрустальные звонь истаявших льдинок
Серебряный нежен ваш плач...
Рассыпали гномы малюток-снежинок
На яркий весенний кумач.

Как выюга недавно рвалася на волю,
Ломая тюрьму бледных дней.
Но счастье пало пришельцам на долю
Иным.., хоть одних с ней..., мыслей...

И мы, рассекая широкие груди
Свободных от ныне стихий,
Запомним, что воле тюремные люди
Сильнее слагали стихи.

И солнце степное, и бурю морскую
Выносит железная грудь.
И, праздник вкатив на ладью щегольскую,
Норманнов завет не забудь.

Но солнце лишь с теми, кто плакал о солнце,
С мятелями песни слагал,
Кто долю свою не вертел на червонце,
Кто с солнцем в глазах умирал.

Хрустальные звонь серебряных искор,
Не всем разгадать вам дано.
Мы, мы: я—волна, да седеющий вихорь
„Ура“ раскатили давно.

Плынут корабли перепетых мятелей,
Звенят хрустали умирающих льдин,
Кто, кто не боялся сыпучих качелей—
Зыбучих не бойся стремнин!

Последние льдины средь бури и ветра.
Отвагою сердце болит.
Спешим! Уж не более узкого метра
Вдоль берега лента кружит.

Кинешма, Ледохода 1922 г.

КУКУШКА.

Куковала кукушечка
Во тёмном во сыром бору,
А моя-ли избушечка
На высоком крутом юру.

Ещё ласкова зоренька
Молодилася, брезжилась,
Моя теплая горенка
Потягдалася, нежилася.

Спала птичка—соловушка
Опосля пиру—веселу,
Моя стланна соломушка
Жарка-жаркая с вечеру.

Ты кукуй мне, кукушечка,
Я тебя-ль, милу, слушаю,
Мягку бросив подушечку,
Для тебя сон нарушила.

Для тебя-ль, бору частого,
Для зеленои березаньки,
Для зари, денька ясного
Встала рано на ноженьки.

Встала рано с заботушкой
Перед вами покланяться,
Перед вами с охотушкой
Мне не робко спокаяться.

Припаду я к березаньке:
Отчего ты кудрявая?
Припаду к гибкой лозаньке:
Отчего ты упрямая?

Разбуджу соловинушку,
Распрошу его песенки,
Частый бор—лесовинушку
Опрошу весь по весенке.

Отчего я, девчушечка,
Не красна, как остальные?
Отчего ты кукушечка,
Чтешь лета мне печальные?

Кинешма, май 1922 г.

Allegro opassionata.

Заря с зарею целовались,
Часы лобзанья нежно бьют,
Минуты ночи отдавались,
Ночь отдавалась соловью.

* * *

Задумно небо в тверди встало,
Гадали тучи на луну,
А та давно в об'ятья пала,
В об'ятья пала колдуну.

* * *

Ключи от синего чертога
Закинув тайно на закат,
На млечном ложе делит Бога
Между собою звездный скат.

* * *

Земля, день с солнцем женихая,
Устав от ласковых чудес,
Спала блаженная, вздыхая,
Под брачным пологом небес.

* * *

Леса и воды не шумели,
Лобзая с трепетом покой,
И даже дали не глядели
Своей холодной синевой.

* * *

Но вот от пьяных поцелуев
Закат на западе упал,
Спев многократно: „аллилуия“,
Петух крылами замахал.

* * *

И от востока после пира
По розам всадник поскакал,
А в золотых струях эфира
Бог многогликий в ризах встал.

* * *

И многодумная забота
Погнала многошумный вал..
Лишь соловей в кустах болота
По ночи тихо тосковал.

Кинешма, июля 11, 1922 г.

ХАРОГО АН

Мих. Сокольников.

ОСЕНЬ.

В златотканные одежды наряжается лес, любуется собой в свежий солнечный день. Красив он, багряный, лиловый.

Но время. Опечаленный, лес теряет свои золотистые одежды. Зябнет он.

Опечаленный, лес теряет свои золотистые одежды...

Желтуют и падают листья. Сырой и шумный ветер кружит их, они сплетаются и, разеваемые, летят снова на землю.

Желтуют и падают листья...

Там, в холодном небе—мутно. Куда-то далеко несутся серые облака и, набегая одно на другое, чернеют.

Куда-то далеко несутся облака...

Чуть слышно полетели безмолвные птицы; они покидают печальную страну холода. В вышине им свободно. Счастливые птицы! Они увидят солнце, узнают ласки земли.

Безмолвные, чуть слышно летят птицы...

В своих страданиях и грусти ты не один, человек. Видишь, природа—как ты.

Человек, природа—как ты...

Падают желтые листья—уходят надежды, тускнеет мечта.

Носятся серые мутные тучи, кем-то гонимые,—ты не всесилен, сильнее—судьба.

Птицы летят в царство солнца и ласки—ты просишь сказок, ты ищешь любви.

Любишь ты осень. Знаешь, за что?

Осень—как ты, человек...

А. Н. СМИРНОВА-БАРФОЛОМЕЕВА.

НА ОГОРОДАХ.

Разрыты гряды длинной полосою,
Лопаты роют темный лик земли.

А в синем небе цепью золотою
Летят, летят на север журавли.

Еще свежо. Плынет туман клочками,
Сверкают заступы, и весел размах рук.

А облачка бегут за облачками,
И окроплен ромашкой белой луг.

И целый день горят загаром лица,
Вбиваются руки в землю нож лопат,
Пока за холм кроваво-красной птицей
Не сидет солнце, погасив закат.

Темнеет даль. И тихо—тихо небо.
Повсюду тени длинные легли.

И засвечен звездой торжественный молебен
Над трудовой колонией земли...

ЗНОЙ.

Жаркий полдень. Небо зноино, сине.

Сонный ветер за луга прилег.

В солнечной горячей паутине

Бьется день—блестящий мотылек.

С жидким блеском огненного сплава

Через воздух на землю течет

Вместо солнца пламенная лава—

Реки зноя с голубых высот.

Небо сине. Камни раскалились,

Воздух льется душною волной.

Все живое робко притяглось,

В тех местах, где не сжигает зной.

И с тревогой сквозь свои оконца,

Сквозь туманное и тусклое стекло

Люди смотрят, как устало солнце

И с престола на землю сошло...

Мих. Сокольников.

ГАУДЕАМУСЫ

Рассказ

Город был неуклюжий, плохо выстроенный. Стоял он у железной дороги, частью в оврагах, частью на косогорах. Кругом лежали поля, перелески, зимой выуга заметала город белыми хлопьями и он тонул в сугробах, а летом поднималась такая страшная пыль, что ею застипало даже фабрики, которыми город славился. Когда утром, все в один час, фабрики начинали гудеть, становилось бодро, люди выссыпали из домов, наполняли улицы и торопились.

Еще недавно город считался уездным. Но время шло, и рядом с убогими домушками возводились громадные дома местных фабрикантов, поражавшие богатством отделки. А лет пять тому назад в город перевели и высшее учебное заведение, которое в нем так и задержалось.

Своим высшим училищем город гордился: к нуждам его относились серьезно, хлопотали в центре. Устроили так, что еженедельно, в специальных вагонах, из Москвы приезжали знаменитые профессора.

Появилась в городе и студенческая столовая. Приютилась она на углу одной из центральных улиц и выглядела, как и вообще студенческие столовые, довольно мрачной и грязноватой. С двух часов дня, ежедневно, сюда собирались: имущие—пообедать, кто победней—прокочить горло кипятком, а кто и просто потолкаться, побеседовать. Пахло супом с селедкой, из кухонной двери шел пар. В комнате стоял оживленный говор, ежеминутно входили занесенные снегом, с'езжившиеся студенты.

Студенчество было удивительно разнообразно. Здесь было и несколько „стариков“, кончающих курс в провинции по нужде, в силу материальных соображений; были отпущенные из армии, изголодавшиеся по науке, уставшие от долгих военных мытарств. Главную массу составляли кончившие вторую ступень, в общем—недоучки, в большинстве, почему-то, низкорослые. Этого студенчества очень занимало и они прежде всего старались раздобыть форменные фуражки, с значками, и сшить тужурки по стальным образцам. Жили же вразброс, всем хотелось традиций, старого студенческого духа.

В один из морозных зимних дней, перед закрытием, когда в столовой оставалось всего человек десять-пятнадцать, в нее ввалился грузный субъект (мальчишки зовут таких: дяденька), в дубленом полушибке и папахе, с небрежной растительностью на лице, в пенсне, очевидно, выпивши.

Войдя, он осмотрелся, снял пенсне и подошел к буфетной стойке.

— Если не ошибаюсь, здесь обедают служители храма науки? Студенческая столовая?—баском обратился он к пожилой женщине, сидевшей у кассы.

— Да.

— Бывшему студиозу можно будет пообедать?

— С частных пять, с учащихся три тысячи.

— Извольте, миледи.

Он отсчитал пять тысяч, получив ордерок, направился к столику и сел неподалеку от группы молодых студентов, горячо споривших о предстоящем распределении пайков.

Вынув смятую папиросу, пришедший пытался закурить. Обшарив все карманы и не найдя спичек, он пожал плечами и усмехнулся.

— Потерял, чорт...—проронил он.—Товарищи, может быть одолжите одну—единственную спичку?

Один из студентов, юркий юнец, быстро вынул коробок.

— Тронут, товарищи, спасибо. Вы меня извините, но я, знаете-ли, чувствую страшную потребность поговорить, так сказать—вылить свои чувства. Вы разрешаете?

Студентики удивленно переглянулись.

— Недоумеваете?—продолжал пришедший, раскурив папиросу.—Я вас понимаю: не привыкли.—Прежде всего—позвольте представиться: Нестор Магелланский, студент-юрист третьего курса Московского Университета, старший ваш товарищ. Эх, Москва, alma mater! Семь лет не заглядывал!.. Разрешите узнать, что это у вас за учебник?—обратился говоривший к студенту, который держал в руках толстую книгу.

— Озеров, «Основы финансовой науки».

— Ваня! Озеров Ваня! Самого, товарищи, лично слышал. Как читал! С других факультетов приходили слушать... И вихрастые филологи, математики, с наискучнейшими в мире рожами, и даже сами медики... Да,

братцы, читали! Да что тут распространяться? Бывало, зачеты... Готовившись как следует, у некоторых трудно было. А вот с молодыми приватдоцентами заберешься в пивную, заговоришь за кружкой пива,—и книжку зачетную на стол. Подписывали... Ну, и уважение к науке имели: любили свою *alma mater*, здорово любили. Главное, жили дружно. Какие традиции, сколько кружков, землячеств этих самых! Товарищество, так сказать, в превосходной степени... А сама Москва! Москва! Люблю я ее братцы! Ну, что ваш городишко? Гадость. Какая тут, к черту, жизнь, наука? Чай и вам противно...

Магелланский хлебнул ложку супу и вновь заговорил.

— Вы послушайте меня дальше, товарищи. Например, театры, московские театры. Шаляпина слушали? Целые ночи дежуришь у кассы Большого театра... А Московский Художественный? Костя Станиславский?.. К Зимину дороже сорока копеек не платил. На галлеренцию, одни ноги видно, но поют—молодцы.

— Вы меня извините, товарищи. Вы думаете, я пьян или что-нибудь в этом роде. Нет, это только немножко, для увеличения духу. Семь лет не был на факультете! Как взяли на военную, так и—каюк: не выберешься... Вы что думаете, я ведь все равно студент. Вот она, тужурка-то: не могу расстаться.

Он растягнул полушибок и показал коротеньку, сильно потрепанную куртку.

— Мала, коротка, не годится, давно продать думал, а нет—не могу! Авось еще поучимся. Верно, гаудеамусы?

Gaudemus igitur,
Juvenes dum sumus...
G-gaudemus igit-tur...

Магелланский запел, размахивая руками и призывая студентов подтянуть. Он раскраснелся.

— Подпевайте, подпевайте, товарищи,—продолжал он, воодушевляясь.—Да что вы, неужели и петь-то не умеете? Вас бы в Москву-матушку на Татьянин день. На лекции дня за три перестаешь ходить: готовишься. Ну, и трактирщики готовятся. Запирались, подлецы, на этот день.

Татьяна наша, Татьяна...

Даже сама полиция знала, что ничего не поделаешь. Дебоширили. В Эрмитаж забирались, посуду били... А к вечеру это—

Через тумбу, тумбу раз,
Через тумбу, тумбу-у два...

О! А в Университете днем—акт, торжество. Подводят итоги, речи, доклады читают. А потом—и профессора в Прагу, на Арбат! Вот, гаудеамусы, штука-то! Вы, нынешние, ну-тка?

— Думаете, поди: легко вам, чертям, было. Э, нет! Вы посыпochками: из дома питаетесь, маменькиными сдобнушками. Мы частенько не жрали по целым дням. Есть-то нечего, на колбасу нет денег,—лежиши это в углу на койке—и поешь:

Вид природы оживился снова, снова...

Что это у вас картошку-то деревянным маслом что-ли мажут? Противная,—проговорил Магелланский, прожевывая сухую картошку.

Наступила маленькая пауза. Студенты, слушавшие Магелланского с растерянным, но внимательным видом, ждали новых излияний. К столику подошли, привлеченные шумным говором, и из других концов столовой. Магелланского осматривали.

— Любопытен я вам?—продолжал он.—Правда, товарищи, правда, гаудеамусы... Вы разрешите мне вас так называть? Звучно: га-де-аму-сы! К вам идет это... А я—продался, кончил с науками. В дубленом полушибке кожу. Когда это бывало? Современным хозяйственником заделался: материалист, спец, чорт меня подери!... А люблю науку, и вас всех люблю. Учиться хочется—ужас!.. Зареву, ей-Богу, зареву... Вот вы, ведь вы ничего не стоите, малыши какие-то, так-ни то, ни се, словно шоколадные. А мне на вас завидно. Учитесь, гаудеамусите... Пристал бы к вам, развернул традиции...

G-gaudeamus igitur...

Ей-Богу, зареву, благим матом завою... Уведите меня, братцы... Хоть и не по пути мне с вами, да ну вас к чорту, все равно.

— Нет, нет, по пути,—раздались голоса.

Магелланского взяли под руки.

Выйдя из столовой, он громко, пьяным голосом запел:

Через тумбу, тумбу р-раз,

Через тумбу, тумбу...

Гаудеамусы ему подтянули.

Ник. Смирнов.

СВЕТЕ ТИХИЙ.

I.

Свет невечерний, свет осенний,
Прозрачный свет Христовых глаз.
Я шел, сбиваясь со ступеней,
И стяг мой, свертываясь, гас.
Эпитрахиль суровых бедствий
Над нами реяла в крови.
О, приласкай, как мама в детстве,
Осенний свет моей любви.
О, вспыхни, тлей, нотише, тише,
Лампада вечного огня.
Сегодня за окном не слышно
Стремен багряного коня.

Сегодня день сквозной, воздушный
Глядится в зеркало теней,
И ветер, крыльями плеснувший,
Спустился птицей в синь полей.

И—слушай—в озимях лазурных—
Колеблющийся веет звон.
Покоем дней моих безбурных
Я упоен и опьянен.

Огонь мой—луч Христова взгляда,
А в нем народная страда.
— Светись, вечерняя лампада—
Осенняя моя звезда.

II.

Голубоватый „свете тихий“—
Печальный свет осенних дн. и.
Я знаю: в сердце пали блики
Смиренных трепетных огней.



— О, теплесь, голубое пламя
Неугасимым васильком.
Жги, осень, царственное знамя,
Сгорай и тай пред зимним сном.

Все тише бледные долины
И все печальней очи утр.
Озябший, хрупкий инок-иней
Осыпал с четок перламутр.

— О, запевай-же, арфа снега,
О сне, о белой тишине.
Моя звезда — царевна-Вега
Зимой теплее светят мне.

Покорно осень знамя склонит.
Зима кадильный взвеет дым.
Но в тихом сердце — светлом лоне —
Мой василек неугасим.

Я не боюсь, что язвой терний
Кроваво вспыхивают дни.

— О, свете тихий, свет осенний,
Нежнее сердце осени!..

НА ВОЛГЕ.

В благоговеньи молчаливом
Речной колеблется разлив.
За тихим, ласковым заливом —
Такой-же ласковый залив.—

И по заливу, за баркасом,
Хрусталь дробится в кружева.
Пред заревым иконостасом
В молитве пали острова.

А с островов, благословляя
Прозрачный и воздушный путь,
Плакуны — чайки легкой стаей
За солнцем медленно плывут.

И я заливами речными
Легко за чайками плыву,—
И так-же тихо, вместе с ними,
Благословляю синеву.

И, с весел сбрасывая воду,
Сметаю с сердца чешую.
Костер весеннего восхода
Затеплил искрой грудь мою.—

И пью я, пью горячий пламень:—
В грудной :олодной глубине
Серебряный сердечный камень
Упруго плавится в огне,

Расплавясь, мягко в жилы бросит
Каленых стрел. Звянящий зной:—
У чайки—белых крыл запросит
И у реки—ее покой ..

ЛЕВИТАНОВСКИЕ МЕСТА.

Скорбная, светлая осень,
Грусть Левитановских мест.
В матовом зеркале сосен—
Мшистой часовенки крест.

Даль—золотая бездонность.
Ветер—вечерний псалом.
Нежной голубкой влюблённость
Грудь встрепенула крылом.

Беленький домик. Ограда.
Жимолость.—В детстве?—Во сне?
Звоны незримого града
Плещут в речной глубине,

Падают трепетным роем
Алые слезы лампад.
Грустно над вечным покоем
Вспыхнул осенний закат.

Вспыхнуло—рядно, узорно—
Темное пламя креста.
В ветхом оконце часовни—
Тихие очи Христа.

А у церковной ступени,
Над изголовьем могил,
Легкой фарфоровой тенью
Крылья архангел склонил.

БЕССМЕРТИЕ.

Как лес, как небо, как звезда,
Бессмертным, вечным, вездесущим,
Я знаю, знал себя всегда—
В давно-умершем и грядущем.

Я был в пустынях древних лет,
Бродил в печальной Иудее.
Я славил солнце—вечный свет—
И жил, от жизни пламенея.

Мне кто-то вечный дал познать
Столетий радость и печали.
— О, мир тебе, родная мать—
Моя земля—родные дали.

Благоухает вешний хмель.
Земля лазурью жадно дышет,
А синий ветер, как качель,
Поля извечные колышет.

Вслед за апрелем я в поля
Иду взыскиющим монахом.
Плынут напевы ковыля
Над старорусским, грустным шляхом.

Хорош весной глухой мой край.
Леса весенние пахучи.
— О, ветер, ветер, укачай
В качели легкой и певучей.

Возьми меня, возьми с собой.
Завей, овей волной хрустальной.
Я над землею голубой
Промчусь земной и—беспечальный.

Лазурь руками расплескав,
Глаза лазурью омывая,
Я вновь спущусь на зелень трав—
На грудь полей родного края.—

И вместе с ветром протрублю
О чудодейственном бессмертии,
И слово вечное—люблю—
Я брошу в мир. В него—проверьте!..

Мих. Артамонов.

* * *

Возьму гармонь,
Пойду—не тронь,—
Звони огонь—
Гармони
Дорогу шире,
Расступись!
В моей груди
Огонь.
Я марсельезу
Затяну,
Дорогу шире
Мне!
Вставай, вставай,
Родимый край,
Душа горит
За огнем!
Прошел всю воду
И огонь
И медны трубы
Я—
Ой, звонки клапаны,—
Гармонь,
Душа горит
Моя!

Сергей Селянин.

Моей матери.

* * *

Когда спеша уходит день
И мрак, и свет в одно сливая,—
Теплом нездешним обвеявая,
Нисходишь ты ко мне, как тень.
Худые простираешь руки
Скромна, молитвенно проста.
Как сокнуты твои уста
Неизъяснимой силой муки!
И скорбь влита в твой синий взор,—
Тоска о невозвратном сыне,—
Потерянной навек святыне
Запечатлевшийся укор.
Я не постиг простых красот.
И, как узнать, не оттого-ли
Сжимает грудь, теснит до боли
И тяжелеет жизни гнет?

1922 г.

Ал. ЛУГАНСКИЙ.

ПОДСНЕЖНИК.

...The primrose is blowing so swiftly...
(Из английской народной баллады).

В моем саду, лишь снег последний стает,
И луч засияет, на землю упав,
Подснежник голубой так нежно расцветает
Среди поблекших прошлогодних трав.

Его наряд не пышен,—бедный, скромный;
Но лепестки—небес далеких цвет.
Подснежник голубой —прироты пробужденный,
Весне сердечный ласковый привет.

И люди ждут. И каждому апрелю,
Каков бы ни был пережитый год,
Подснежник голубой, светло, подобно Лелю, Матчк,
Улыбку счастья снова принесет.

15. V—1922 г.

ДВИЖЕНИЕ.

В румянце утра, в лучах заката,
В покое ночи и в шуме дня,—
Борьбой извечной жизни обята
Стихии мрака и сил огня.

И если будешь искать покоя
В пучинах моря, в напевах строк,
В улыбке солнца, цветах левкой,—
Везде ты встретишь живой поток.

Рождаясь, в мире все умирает.
Все, умирая, опять живет,
И жизнь смеется. И жизнь играет:
И хаос мира, живя, цветет.

22. VI 1922 г.

Несколько лет назад в тот день, когда
Семья была разбита, —
Был погибший на деревенской
Пасхальной поляне, убитый

Борис Городецкий.

Косогоры, овраги, сыпучая глина,
Искривленные ветром, больные березки,
Протянулась на версты и версты равнина —
Только вереск, да мох, да кукушкины слезки. * * *

Да порывистый ветер, с высот налетая,
Прошумит и умчится к цветам и приволью,
Да синеющий вечер, в кустах доторгая,
Сердце ранит щемящей, томительной болью.

Это все — что дала ты, земля золотая,
Истомленному сердцу пришельца с чужбины,
Для того, чтоб в просторах твоих умирая,
Ярче вспомнилось солнце цветущей долины.

Ярче вспомнились тучки в бездонной лазури,
Точно вишни в цвету, отраженные небом,
И весенние грозы, осенние бури
И пчелиные звоны над зреющим хлебом.

ПОКОЙ.

Как хорошо в глухи таинственной,
В лесу густом,
Уснуть навек с мечтой единственной,
Последним сном.

И, потеряв тропинку малую,
Где кончен путь,
Склониться головой усталою
К себе на грудь.

И станет тихо, станет радостно
В глухи лесной,
Где тихо веет сумрак сладостный,
Царит покой.

ЗЕМЛЯ.

Июньским ранним утречком три бабы шли вдоль линии,
Стомились резвы ноженьки—измаял долгий путь.
Взбралились на пригорочек, взглянули в небо синее,
Раскинули паневочки, присели отдохнуть.

Молодушка—рязанская, старуха—из под Киева,
А третьяя, убогая—из самой Костромы;
Блестит зрачками тусклыми—глаза-то слезы выели—
Не видят светла солнышка из вековечной тьмы.

А с неба водопадами струится солнце ярое
И плещет светлым золотом на смуглые поля;
И поле зеленеется. Перекрестилась старая
И шепчет, умиленная: „Кормилица—земля!“

СТИХИ О ЦАРЕВНЕ.

I.

Царевна у окна.
В окно глядит печально.
Зачем слеза одна
Туманит взор хрустальный?

Глядит с тоскою в даль,
В тоске ломает руки.
В душе поет печаль,
На сердце—злые муки.

II.

Посмотри—прихотливым узором
Пред-тобой я раскинул парчу,
Осчастливъ-же улыбкой иль взором...
Ты молчишь... Говоришь—„не хочу“...

Вот кораллы, цветные каменья,
Изумруды, сапфиры, алмазы...
Ну, взгляни,—и исчезнет томленье-тое
Из печальных тоскующих глаз.

Хочешь—дно я раскрою морское,
Все, что хочешь достану со дна—
Янтаря, жемчугов... Что с тобою?..
Задрожала... Ты плачешь?.. Больна?..

Искушение грусти III.

Царевич из сказки! Царевич из сказки!
Царевна тоскует, царевна грустит.
Забылись, остыли прощальные ласки,
А время так быстро, так быстро летит...

Царевна в окошко платочком махала,
Шептала: „вернись-же, смотри“...
И долго белело вдали покрывало
В лучах потухавшей зари.

IV.

Колеблются травы, высокие травы,
Под ветром склонился ковыль.
Звучали здесь оклики бранной забавы,
Взметалась копытами пыль.

И отблеск кровавый степного заката
Прощальною лаской лучей
Ласкает и травы и ржавые латы,
Забрала, обломки мечей.

Тот бант, что носил он, как память прощанья,
Теперь—истлевает в пыли.
И память о прошлом, печаль расставанья
Померкли, забылись, ушли...

III
Но в садах сиреневый цветок —
Листва — тяжелы, тяжелы листья.
Все это — пурпурного цвета, —
Розовый цветок, яркий цветок, цветок А.

Сладких цветов синева в цветах
Святого альбина, цветы Ш.

Леонид ЧЕРНОВ-ПЛЕССКИЙ.

ПАРУС.

Я гляжу в чье-то очи живые,
Как в рожденье лучистого дня,
Бьют источники в них ключевые
Чище утра, теплее огня.

Та сама в этом тонет сияньи
И земная летит в неземном,
И мелькает, мелькает в мерцанье
Алых зорь улетающим сном.

Этих глаз напоенные чаши
Медоноснее всяких цветов.
Всех цветов, драгоценностей краше
Под убранством ресницы альков.

И какое-то чудное слово,
Слово чудное спит на устах —
В нем и сила наивно-простого,
В нем и мысли поэта размах.

Горний ангел, стесняясь и кротко
На щеке ее нежит крыло,
Переливы молитвенно-робко,
Робко радуга льет на перо.

На груди отдыхает Мадонна,
Обвил с лаской Младенец стан тот.
Примитива святого бездонна
Глубина первозданных красот.

Меру радости девственной силы
Та не знает, ребенок сама,
И шаги ее шатки и хилы
По ступеням познания зла.

Искушения грусть не коснулась
Очертаний взыскующих лба,
Лишь пугливо бровей прикоснулась,
Прикоснулась о чем-то мольба.

Искушенный, молитву ту зная,
Я пытливый вопрос разрешу,
Но ту тайну с собой сохраняя,
Никогда, никогда не скажу.

Тайна вечная, вечное счастье,
Счастье вечное мне принесет
И к безвестности мирной причастье,
Мне причастие тайно дает.

Смел мой Парус, натянутый хордой,
Средь кипящей страды роет путь,
И высоко, высоко и гордо
Поднимается крепкая грудь.

Этих вздохов упрямых и вольных,
Дерзкой силы железный покой
Не нарушит звон чащ запрестольных
Запрестольной поднятых рукой.

Но сменю-ли я подвиг раздольный,
Как очей тех вопрос разрешу,
Повторю, презирающий, вольный,
Повторю: не скажу, не скажу!

Крепни, Парус, высокий и гордый,
Руль, послушен руке твердой будь..
Нам золовой арфы акко́ды
Убирают в наряды наш путь..
Лунная дорожка, май 1922 г.

ВЕЛИКАН ГОР.
Чу! один, все один
Каждый день, ряд годин,
Как от шумных лавин,
Зов с далеких долин.

Четкий, явственный зов,
Нера́згаданных снов,
Нерассказанных слов
Слышу с дальних низов.

Гордых гор великан,
Зачарованный Пан,
Знахарь огненных ран,
Вед седой синих стран.

Заколдован, стою
На неверном краю.
Замолчал. Не пою.
Залил душу мою.

Дум моих властелин,
Жизни сна господин,
Все один и один
Зов с далеких долин.

Кинешка, август 1921 г.

* * *

Выхожу я отсюда заплаканным...
Здесь коснулись небрежной рукой моя
Струн моей мандолины оплаканной,
Смят мой Парус над вольной рекой.

Но слезами терпенья залиная,
Серебром перепаянный друг,
Друг мой, плачь, мандолина, повитая
Звоном скачущим плачущих мук.

Мои раны, мои огнекрасные,
Кто больней меня вас бережет,
Мои слезы, мои ненапрасные,
Кто ваш жемчуг обильнее льет?

Кто рекою, рекою бурлящею
Парус в зыбке нежней пронесет?
Кто беду, кровь бойца леденящую,
С материнскою лаской снесет?

Помешает-ли дерзкий оплаканным
Мореходам скитаться в морях?
Выхожу я отсюда заплаканным...
Плачь со мной, Мандолина моя...
Кинешма июнь 1922 г.

Мих. Сокольников.

О ПОСТАНОВКЕ ДРАМЫ БЛОКА «РОЗА И КРЕСТ».

Воспоминания.

Русскому обществу едва ли известно, что лучшее произведение Александра Блока драма «Роза и Крест», святая святым его поэзии, вся сотканная из тончайшей и нежной лирики, полная музыки и символов, была поставлена на сцене. Все помнят, что «Розу и Крест» готовил Московский Художественный театр и что только война, а быть может, и другие причины, заставили отложить постановку, уже сделанной художественниками, пьесы.

Однако, «Роза и Крест», несмотря на, казалось бы, полную невозможность воплощения ее на сцене, все же была поставлена и прошла пятнадцать раз.

Было это в Костроме, зимой 1920 года.

Рассказать об этом интересном и единственном спектакле я и хочу на этих страницах.

В тот год директором и главным режиссером костромского городского театра был художник Ю. М. Бонди, сподвижник Мейерхольда совместно с ним написавший детскую пьесу «Алинур». Труппа была небольшая, слабая; составили ее случайно, лишь в ноябре. Ставить хорошие, большие пьесы старого репертуара, ввиду незначительного количества исполнителей, не представлялось возможным, да и Бонди, с его стремлением к созданию романтического театра, построенного на принципе отказа от подражаний действительной жизни, хотелось дать «новое» и применить «свой» метод сценической постановки.

Он начал с «Розы и Креста». Решиться поставить эту драму в провинции—большое дерзновение. В пьесе девятнадцать картин, почти для каждой необходимы специальные декорации, костюмы, музыка, балет, пение. Всему этому требовалось дать настроение, фон, законченность. «Роза и Крест» соткана из тончайших нитей,—и малейшее неосторожное прикосновение могло повести за собой гибель всей пьесы. Никаких особых сценических ремарок Блок не дает. Перед режиссером лишь голые стихи, чистая лирика—и только. Пьеса символов и средневековой романтики, «Роза и Крест» требовала и символического к ней подхода, романтических красок и звуков, движений и переживаний. Воплотить «Розу и Крест» мог только синкретический театр.

Бонди так и стал ставить. Он использовал для постановки все силы и средства. Спектакль создавали: и режиссер, и актер, и художник—и певец, и портной, и музыкант, и рабочий.

Готовились долго. Актеры, не привыкшие к таким постановкам, буквально мучились и даже начинали распространять нелепые слухи о незнакомой пьесе. Стоило колоссального труда заставить их почувствовать Блока и понять сущность воплощаемого. В это же время талантливый композитор Б. А. Федоров писал специальную к драме музыку. Шились костюмы по эскизам самого Бонди, под его же руководством и в его замыслах местной декоративно-художественной мастерской писались декорации. Балетмейстер М. М. Чумаков подготовлял балет.

Но особенно долго задерживаться на постановке все же не пришлось, так как каждая неделя простоя театра стоила больших денег.

Первое представление «Розы и Креста» состоялось в день открытия зимнего сезона. Волновались ужасно, и не без оснований. Новые формы воспринимаются не сразу, а тут как раз были: и новая, непонятная для зрителей, пьеса, и яркие декорации—намеки, и странные движения, музыка, искусственные лошади, и многое-многое другое. Невольно напрашивалась на сравнение первая постановка чеховской «Чайки» в Александринском театре. Предчувствовалось, что публика не поймет, не оценит, ибо такие поэтические произведения доступны немногим, чутким и тонким.

Нервировали и недокрашенные костюмы. Бонди, возбужденный, ходил с кистью и даже после второго звонка дополнял рисунки.

И, действительно, «Роза и Крест» хотя и поразила, но вызвала недоумение в большей части зрителей.

Тут было все неожиданно и ново: просцениум, выход артистов через занавес, особые башни у боковых сторон портала, фиолетово-розово-зеленый свет, декорации—фантазии и, главное, театральные слуги.

Необычайно-яркие декорации служили живописным фоном для игры актеров и давали своим рисунком и красочными сочетаниями художественное впечатление, дополняющее впечатление от происходящего на сцене действия. Так, вместо башенной стены с окном, было лишь одно, опущенное сверху, резное окно, стена же дополнялась творческим воображением.

Отдельные «реальные» предметы (дерево, скала, очаг, колодец) убирались неслышно, на глазах всего зрительного зала, театральными слугами. На сцене в первом действии были устроены четыре сцены, с тремя занавесами. Все это значительно облегчало ход действия и сцены шли одна за другой. Особенно поражала игра на просцениуме, перед опущенной у главного занавеса декорацией.

Но такие замыслы режиссера едва ли поняла даже самая незначительная часть присутствующих. Во время хода драмы в зрительном зале недоуменно переглядывались, а когда показывались искусственные лошади или театральные слуги начинали катить картонный колодец,—в публике смеялись.

В антрактах—долгие, оживленные разговоры. «Что это за пьеса», «ничего не поймешь», «мы—не на луне»...

Часть аплодировала. Всех очаровала музыка. Действительно, это была поэзия блоковского «соловьиного сада». Мелодия ее прелестна.

«Играли» пьесу слабо. Пожалуй, один Викторов был на высоте и давал подлинные, глубокие поэтические переживания. Его Бертран—вполне законченный, светлый поэтический образ. Бертран—трогал, и в одном этом чувствовалось большое достижение. «Через все ступени страдания, унижения и самоотвержения, он пронес непоколебленной «вечную верность Dame» и достиг высшего просветления». Определяющие всю драму слова

Сердцу закон непреложный
Радость—страданье одно!
Радость, о радость—страданье—
Боль неизведенных ран!
О, роза, гори!..

были выстраданы. Но и остальные исполнители, в общем, не нарушали цельности впечатления.

Однако, как ни брали новую драму, все-же «Роза и Крест» выдержала пятнадцать представлений. Многие смотрели ее по два, по три раза. К седьмому, восьмому спектаклю страсти утихли—и пьесу принимали уже лучше. Начинали понимать и автора, и режиссера, и декорации, справедливей оценивали и всю постановку.

Да, это был праздник поэзии и театра. Спектакль был выполнен в широких заданиях, интересно, талантливо, не по-провинциальному.

На постановке своей пьесы Блок не был, хотя о ней ему и было известно. Но едва ли он знал, что это был праздник его поэзии, удачное воплощение его лирических и театральных интуиций, раскрытие его души, «Розы и Креста» его творчества..

СОДЕРЖАНИЕ.

Дм. Семеновский—стихи	1
Борис Городецкий—стихи	2
Леонид Чернов-Плесский—стихи	7
Мих. Сокольников—„Осень“	11
А. Смирнова-Варфоломеева—стихи	12
Мих. Сокольников—Гаудеamus	13
Ник. Смирнов—стихи	17
Мих. Артамонов—стихотворение	21
Сергей Селянин—стихотворение	21
Ал. Луганский—стихи	22
Борис Городецкий—стихи	23
Леонид Чернов-Плесский—стихи	26
Мих. Сокольников—О постановке драмы Блока „Роза и Крест“	29

АЛЬМАНАХ "ЗЕМНЫЕ ЛАСКИ" НАПЕЧАТАН
В ТИПОГРАФИИ ИВ.-ВОЗНЕСЕНСКОГО ГУБ-
СОЮЗА ПОТРЕБИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕСТВ В КИ-
НЕШМЕ. ТИРАЖ 1.000 ЭКЗЕМПЛЯРОВ.
— 5 —





